



1.

Нынешним летом, когда я приехал в свою родную деревню, на меня ворохом посыпались новости. И новости все довольно ободряющие, вроде той, например, что с этой осени нашу деревню подключают к государственной электросети.

Но, по правде сказать, меня больше всего взволновала одна частная, чисто человеческая новость — недавняя свадьба у пекарихи Евдокии, которая выдала замуж свою последнюю дочь.

Пекарихой Евдокией — так у нас называют Евдокию Трофимовну, мою бывшую соседку — я восхищался всегда. Восхищался ее живым, деятельным умом, ее житейской и хозяйственной сноровкой. И, конечно же, ее трудолюбием. Человеку давно уже за пятьдесят, здоровышню так себе, дети все пристроены — ну чего, казалось бы, убиваться, чего не сидеть дома? А она работала. Она каждый день в любую погоду — в осеннюю грязь и слякоть, в зимнюю лютую стужу, в весеннюю распутицу — шлепала за реку на свою пекарню...

С самой Евдокией я столкнулся на улице на другой день — она возвращалась из магазина с какими-то покупками — и, разумеется, первым делом поздравил ее с семейным торжеством: замужеством меньшей.

В ответ — ни слова. Только по-старинному утвивый, но холодный нивок.

Я с недоумением пожал плечами. И тогда Евдокия заговорила:

— Слыхали, слышали, Федор Александрович, как меня прописали... Сказывали... Пелагея сундуки наопила... Пелагея на ситцах да крапдешках помешалась... Две плешевки завела... А того не слышал, как Пелагея робила? Муж больной, сколько лет тресчь ходил да лежкой лежал, свекор немощен, мать-свекровушка тоже руной не пошевелит, четыре девки мал мала меньше... Да, как думаешь, легко Пелагею было? О сундуках Пелагея думала?

Оправившись от первого изумления, я начал горячо оправдываться, уверять Евдокию, что ей неверно наговорили, что Пелагея, — это все и не она, Евдокия, и в доказательство привел, как мне казалось, совершенно неотрицательный довод: Пелагея, героиня моей одноименной повести, в конце произведения умирает, а она, Евдокия, слава богу, не только жива, а еще и работает, да так работает, что и молодой за ней не угнаться.

Ничто не помогло. Евдокия осталась при своем мнении. Мы расстались холодно.

2.

Знаю: какой-нибудь сверхстрогий критик, прочитав эти строки, наверняка воскликнет: «Ага, так вот как мы обрабатываем действительность! В жизни героиня здравствует, с честью выполняет свои нелегкие обязанности, а автор ее того... уморил!»

Нет-нет, успокойтесь. Никакого очернительства, никакого насилия над человеком, хотя, конечно, литература далеко не простое зеркальное отражение жизни и автору приходится нередко трансформировать ее самым крутым образом.

Но в данном случае, в случае с Пелагеей, дело обстоит куда проще. В данном случае у автора была не одна Пелагея, а по меньшей мере три. И тут мне еще раз придется вернуться к Евдокии.

Хотя я и уверял ее при нашей последней встрече, что она ничего общего не имеет с Пелагеей, но все же в интересах истины я должен признать, что первый-то росток моей будущей повести дала она, Евдокия. Вернее, одна встреча с нею.

Было это давно, лет 10—12 назад. Я только что приехал в свою родную деревню и, как всегда, первым делом вышел на «горочки», то есть на угол, на котором стоит наша деревня, любуясь, красуясь, любуясь, любуясь, цветущими лугами внизу, цветущей Пинегой, старинным белокаменным монастырем за рекой. Но два человека, которые

попались тогда мне на глаза, заглянули собой всей и красоты родной природы, и монастырь.

Это были Евдокия, в ту пору еще не старая, довольно крепкая женщина, и ее муж Петр. Петр был очень болен. По рассказам соседей, он целый день лежал дома на кровати и лишь к вечеру кое-как вылезал из избы и добирался до носогора за дорогой, чтобы встретить свою жену, возвращающуюся из пекарни из-за реки.

И вот сейчас я был свидетелем этой встречи. Встречи двух людей — одного бледного, безнадежно больного, с трудом переставляющего свои непослушные ноги в серых растоптанных валенках, а второго — запотелого, зажарелого, целый день выстоявшего у раскаленной печи на пекарне да еще вдобавок только что поднявшегося с тяжелым ведром хлебных покоев в крутую гору.

Но, боже мой, какое глубокое чувство вязало этих двух людей!

— О, горюшно ты мое лунокое! — жалобно запримчала женщина, едва поставив ведро на землю. — Да зачем же ты опять вышел-то? Зачем наминать свои больные ноженки? Разве я сама не дойду?

А мужчина от волнения говорить не мог. Мужчина, тот просто вскрипывал и, с трудом переступая с ноги на ногу, как ребенок малый, тянулся к ней рывками...

В тот вечер, до слез взволнованный этой сценой, я записал ее в свою записную книжку, а на другой день, после бессонной ночи, принялся писать рассказ.

Но, увы, рассказа у меня не получилось. Получилась всего лишь идилическая, душещипательная картинка, в которой не было еще ни характеров, ни сколько-нибудь значительной мысли.

Короче говоря, я скоро понял, что, для того чтобы росток, угнездившийся в моем писательском воображении от встречи с Евдокией и Петром, дал зеленые побеги, мне нужно время, нужны серьезные раздумья и новые жизненные впечатления.

За жизненными впечат-

Федор АБРАМОВ

СЮЖЕТ И ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАПИСАНА КНИГА

лениями дело не стало. Они пришли, как всегда, сами собой и совершенно неожиданно.

Как-то раз, года три спустя после встречи с Евдокией и Петром, я оказался в одном маленьком среднерусском городке, в кабинете секретаря райкома. И вот этот секретарь, наставляя при мне своего инструктора, отъезжающего в командировку в один совхоз, вдруг бросает:

— Да, вот еще что. Буханочку черного хлеба прихвати оттуда, если нетрудно. Для меня.

Помню, меня тогда очень удивила эта просьба: Что за причуда? Разве в райцентре хлеба нет?

— Да есть, как нету! — начал оправдываться смущенный секретарь. — Хлеба давно у нас вдоволь. Да там пекариха больно хороша. Хлеб печет — пальчики оближешь. Наш хлеб против ее хлеба — замазка...

Надо ли говорить, как «дрогнуло» при этих словах мое писательское сердце и как бурно заработала моя писательская фантазия!

А второй случай, который, быть может, еще больше помог мне окончательно уяснить характер Пелагеи, а следовательно, и сюжета повести, — это история жизни одной работницы железной дороги, рассказанная мне три года назад на Ярославщине, куда я частенько наведывался весной и летом.

Так вот, работница эта, в свое время хватившая немало лиха, во всем отдавала себе — в еде, в одежде, в обуви, работала на износ, в две смены, и все это ради дочерей, все это ради того, чтобы ее единственная дочка ни в чем не знала нужды, вышла «в люди». Конец этой истории, как и надо было ожидать, оказался печальным. Дочка выросла черстой эгоисткой. После восьмилетки она укатила в город и навестила свою мать только тогда, когда та была уже в гробу...

Таковы главные жизненные толчки, импульсы, которые дали, так сказать, земную, «материальную» основу «Пелагеи».

3.

ПОДОБНЫМ ЖЕ образом я, вероятно, мог бы рассказать и о жизненной основе моих романов «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета». И в них, этих романах, за каждым героем так или иначе стоит живая натура, живая модель. Так, например, с прототипом главного героя «Двух зим...» Михаилом Пряслиным я встречаюсь на своем Пинежье каждое лето. И не только

встречаюсь, но и беседую с ним. Но, боже мой, как мало похож этот здоровенный мужчина с твердым, упрямым взглядом на того совестливого и самоотверженного парня, которого читатель знает по роману! Да это и понятно. Писатель не фотограф. От реального человека он берет порошечку, без которой любой созданный им образ всего лишь мертвая и безжизненная схема.

В связи с романами «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета» мне хотелось бы сказать о другом — о роли автобиографического материала в сюжете этих книг. Конечно, в творчестве писателя в той или иной мере все автобиографично, все пропущено через его сердце, но в моих романах, в отличие от некоторых повестей и рассказов, эта автобиографичность особого рода. Скажем, не будь в моем личном опыте раннего безотцовства, чувства повышенного долга перед семьей, перед родными, я бы, вероятно, никогда не смог написать пряслинскую семью, постигнуть, так сказать, красоту и радость взаимовыручки, самопожертвования во имя ближнего.

С другой стороны, в разгадке характера русского человека, его великой стойкости и душевной щедрости, чему посвящены мои романы, решающую роль для меня, как и для многих писателей моего поколения, имела минувшая война.

В конце зимы сорок второго года меня, тяжело раненного фронтовика, вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю. После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине — в глухих лесах Архангель-

ского начала в творческом процессе. Тут, в этом вопросе, у нас далеко нет единства. Я знаю писателей, даже одаренных писателей, которые с каким-то смущением говорят об этом, словно рассудок принижает их как художников, низводит до уровня ремесленников. А вот сказать, что это у меня вылилось в один миг, само собой — это считается признаком истинного таланта. К сожалению, эти «утробные», «селезеночные» настроения поощряются порой и нашей критикой.

Я не скрываю. Я — за анализ, за мысль, за исследование. И в этом плане, мне думается, работа писателя мало чем отличается от работы ученого. Во всяком случае, работая над «Пелагеей», мне пришлось не раз и не два обдумывать прошлое нашей деревни, пути развития нашего общества в послевоенные годы. А как же иначе? Где, как не в прошлом, искать отгадку сложного, противоречивого характера героини, которая совмещает в себе и вдохновенного труженика, а бы сказал даже, поэта труда, и обывателя, зараженного бациллой приобретательства?

Думаю, не обойтись писателю и без некоторых изысканий литературоведческого порядка. Скажем, знание опыта своих предшественников. Ну разве мыслимо было мне, например, братья за «Две зимы и три лета», не разобравшись в том большом и сложном хозяйстве, которое называется послевоенной прозой? Нельзя же в самом деле писать по принципу: а вот дай-ка я еще покажу, как было это в моей деревне!

Да что там ломиться в открытые ворота! Кому не известно, что произведение, не освещенное большой и оригинальной мыслью, не может подняться над уровнем фотографической зарисовки, а следовательно, не может претендовать и на внимание своих современников.

Особо хочу сказать об изображении так называемых послевоенных трудностей. Убирать ли рытвины и ухабы с пути героев, выравнивать ли их дорогу?.. Но кому от этого польза? Разве не ясно, что, преумножая действительные трудности и лишения, которые наш народ преодолел в своей битве за лучшее будущее, мы тем самым — хотим этого или нет — обкрадываем его, преумножая исторический подвиг советских людей?

5.

КОГДА кончается работа писателя над сюжетом? В ту пору, когда он ставит последнюю точку в своей рукописи?

В основном — да. Но нередко бывает и так, что мысль о совершенствовании своего детища не покидает писателя всю жизнь. И это вызвано не только его профессиональной ответственностью и требовательностью к себе. Это связано и с его духовным и интеллектуальным ростом, с углублением его представлений о том предмете, которому посвящено произведение.

Между прочим, именно этим прежде всего объясняется стремление некоторых писателей к доработке и переложке своей книги уже после того, как она побывала в руках читателя. Мне кажется, это стремление — в интересах литературы — надо поощрять. Мне, например, окончательно найти сюжет «Пелагеи» помог А. Т. Твардовский. Помню, как прочитав повесть, он сказал:

— Как будто бы все есть. Есть характеры, есть среда, есть слово, а вещи нет.

Должен признаться, что я и сам не был удовлетворен своей «Пелагеей», но, конечно, только выслушав мнение такого авторитетного и глубоко уважаемого мной человека, я начал «прозревать». Короче говоря, после долгих раздумий я пришел к выводу, что ошибка моя заключалась в концовке повести, где после смерти Пелагеи у меня в первом варианте шла еще довольно подробная история жизни Альбины в городе. И вот оказалось, что эта история, сама по себе любопытная, я, кажется, неплохо написанная, в этой повести лишняя, так как она перекрывает читательское внимание с главного образа на сравнительно второстепенный, а значит и ослабляет идейно-эмоциональный накал вещи.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ мне снова хотелось бы вернуться к тому, с чего я начал эту статью, — к Евдокии. Я не уверен, что этот номер газеты дойдет до нее. И как знать — не просветит ли ее опять кто-нибудь по-моему? Пусть. Мне все-таки после этой статьи легче будет встретиться с нею в следующий раз.

4.

ИНТУИЦИЯ, вдохновение, озарение... Или, как я назвал бы все это, невидимая химия творческого процесса, простирающегося где-то в глубинах нашего сознания и проявляющая себя в виде внезапных «мыслительных» всплесков и эмоциональных разрядов...

Область загадочная и совершенно не изученная. Да и вообще — поддается ли она изучению? В самом деле, занимаешься совершенно другим делом — пишешь, читаешь, гуляешь, разговариваешь, и вдруг тебя «озаряет», вдруг твой мозг «срабатывает» в сторону давно задуманного, но по тем или иным причинам отложенного произведения, начинается «выдавать» мысли, детали, нужные слова.

Я этими «даровыми» ходками очень дорожу, так как они обладают силой и свежестью первозданности, без которой нет искусства. И все же довольно об этом. Что толку говорить о той стороне писательской работы, повторяю, чрезвычайно важной, быть может, решающей в создании подлинного художественного произведения, которая почти совершенно не зависит от твоих усилий!

Мне кажется, гораздо важнее подчеркнуть значительное логическое, рациональное